

Александр Фуфлыгин



**АНГЕЛЫ НАД
ИЗРАИЛЕМ**

ПОВЕСТЬ

Александр Фуфлыгин

Ангелы над Израилем. Повесть

«Издательские решения»

Фуфлыгин А. В.

Ангелы над Израилем. Повесть / А. В. Фуфлыгин —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-969403-4

Эта повесть для тех, чьи дети выросли, пошли в школу, в институт, вышли замуж, женились. Для тех из них, кто сохранил воспоминания о тех далеких днях, когда их дети, сегодня уже взрослые, ходили пешком под стол. Повесть о том, что с грустью и улыбкой вспоминает каждый родитель. О том, о чем рассказывают все родители своим повзрослевшим, возмужавшим, может быть даже в чем-то немного очерстевшим детям, возвращая их в мир детства.

ISBN 978-5-44-969403-4

© Фуфлыгин А. В.
© Издательские решения

Ангелы над Израилем

Повесть

Александр Валерьевич Фуфлыгин

© Александр Валерьевич Фуфлыгин, 2019

ISBN 978-5-4496-9403-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Начало

О безмерности окружающего мира, о таинственной игре уличных звуков, о голубой пучине неба за окном, о волнении солнечных зайчиков Ксюша думала так, как любила слушать музыку: лежа на своей постели, туго завернутая в одеяло, мягко постукивая розовой пяточкой о матрац.

Был июль, и было жарко: Ксюша давно помышляла скинуть жаркое это, мягкое, одеяльное неудобство, но мысли об устройстве навешенного на нее мира отвлекали ее от собственных забот. Она – каменнолица и по-взрослому безмолвна, завернута в одеяло – как во вселенную, вселенная вокруг нее – коконом. Она – закутана в июльские погоды, в листовенные шелесты, в размахи отпочковавшихся веток, в теплые, тягучие густоты дня. В такие минуты – в щелку приоткрытой двери маме она кажется безвольной, как безволен ветер, удерживаемый оконным стеклом. Но это мамино беспокойство – напрасно, это мнимое Ксюшино безволие – видится лишь случайно брошенному, ненаблюдательному взгляду, в самом деле, внутри Ксюши живут ураганы, усмиренные на время.

– О чем это у нас Ксюша мечтает?

За приоткрытой дверью: суета, топотня, беготня: папа устроил с Настей гамы и топоты. Папа – мастер скакать на одной ножке, висеть веселым клоуном на перекладине вниз головой, заставляя волосы стоять клоунским дыбом. Настя – мастерица подыгрывать, подхватывать папины выдумки, довыдумывать, дохохотывать, она – папино продолжение, эхо, поначалу копирующее шуточные выкрики, затем обыгрывающее их заново, задавая свою громкость и свои оттенки. От этих игр сегодня Ксюша – в стороне, ей жаль терять настрой, затаенный под одеялом, скакать немудрено, прогнать настроение – раз и готово. Пригреть мысли, приноровить к настроению, чтоб они стали неотступными, приятными в этой неотвязности – вот задача из задач, вот трудность из трудностей

– Не оторвите друг другу головы, – говорит мама.

В ее голосе серьезность и требование: от папы и Насти всего можно ожидать, когда они чуют.

О сложностях с возрастaми

Настя вошла, ловко ставя ступни, слегка выворачивая их носками наружу, как балерина, вся крепколадная и рослая, вошла и остановилась в дверном проеме, а за спиной: ангельские крылья, нимб (или просто тени на стене?). Это – ровная, основательная поступь жизни: вошла, встала – руки в бока, взглядом ища Ксюши: да вот же она, уже на пол перебралась, а одеяло – опутывающую ее вселенную, давно исходящую жарами – так и не скинула. Не скинулось и все, и не лень, и не «на потом» отложено: просто так.

Насте уже много лет, ее возраст так велик, что кажется недостижимым Ксюше: Настя в два раза старше Ксюши, ей почти семь лет. Столько не живут, сказал однажды папа. Настя не верит: обратному – слишком много примеров. Дядя Коля, например, прожил целых две тысячи лет. Дяде Коле уже давно пора в гроб. Дядя Коля пошел на выборы. Неизвестно, что он ходил выбирать, но вместо этого попал в списки каких-то избирателей, и в этих списках было написано: «0». Дядя Коля – нулевого года рождения. Папа сказал, что дяде Коле поэтому сейчас две тысячи лет. Ему вот уже как минимум тысяча девятьсот лет пора в гроб. Все очень громко смеялись, дядя Коля же – грустил. Он, видимо, устал столько жить. Две тысячи лет – это вам не шутка: дядя Коля оттого всегда грустный. Грусть его очень сильна, у нее много мелких ножек, как у многоножки: ножками своими грусть протоптала себе дорожки на его лице – морщинки. Он постоянно уходит в себя: Настя с Ксюшей, пользуясь этим, по очереди взбираются ему на плечи – пока он в себе, пока ничего не видит и не слышит, пока тело его безвольно сидит – одинокое, покинутое им. Под акробатические этюды они используют его, чтобы он не просиживал зря.

С возрастными взрослыми – всегда круговерти странностей, это словно игра, словно отчаянные сумасбродства. Это болезни – взрослые предрекают себе возрастные немочи, кризисы средних возрастов, проживают одни и те же жизни, одни и те же годы бесчисленное множество раз. Маме – вот уже подряд несколько лет: двадцать три года. Память взрослых – дырява, коротка. Прабабушке Соне – сколько лет – неизвестно. Никто не знает. Даже паспорт (а паспорта знают все возраста, всех и каждого). Ее безвозрастие – причина споров: жизнь ее – безразмерная, неизмеримая, несоизмерима – ни с чем. Она же сама: замалчивает, не выдает тайны. Не пытаться же ее, говорят взрослые, но, впрочем: она легко могла сама забыть годы свои.

Прабабушка Люда – мама бабушке Алле: все это поводы – к размышлению, ибо взрослая жизнь – плетеная сеть парадоксов, нелогичностей, бессмыслий: прабабушки не бывают – мамами, ведь мамами могут быть – лишь мамы.

С детьми же, думает Настя, все предельно просто: мне почти семь лет, Ксюше – четыре, никаких тебе выкрутасов памяти, временных дыр. Всякому ребенку, спешащему жить, следует с раннего детства вести четкий учет прожитых лет: чтобы в них не заплутать, как это водится среди взрослых, чтобы не нарушился упорядоченный – по ранжиру – строй дней. В желании быть взрослей и рослей: Настя тянется затылочком вверх и ходит на носочках, Настя – считает дни до очередных именин, чтобы можно было прибавить к годам единичку, чтобы немедленно, велением какого-то неизведанного чуда (это почему-то становится особенно заметным в те праздничные утра): возвыситься на целую голову и вырасти изо всех нарядов. Как возможно потерять счет своим годам, когда умеешь считать?

Загадки памяти

Ксюше нравилось представлять себя беспомощным младенцем, которым она была в прошлом, и ловить себя на том, что периодически открывает рот: будто для младенческого, бездумного и бестолкового крика. Движение это было ей привычным и удобным выраженьем самого себя. Но, будучи думающей и считая себя вполне толковой – такому крику она не давала выхода. В памяти, в мыслях – прошлое, обязательно выполненное в цветных, движущихся пятнах, вечное, яркое сопротивление окружающему миру, крепко пеленающему ее. В Ксюше – столько энергии: целый сгусток, пучок, упрямый, раскручивающийся, неподатливый клубок, норовящий выпрыгнуть из удерживающих его рук, чтобы раскататься и раскричаться.

Прошлое и настоящее разнятся лишь возможностями воли: вечерами, перед сном Ксюша крепко задумывалась. Каждое утро: становилось вольней, пригодней к жизни, послушней. В нем – требовалось скакать, оно было поначалу, с самого своего раннего начала какое-то неправильное, с застоявшимся воздухом, каким-то даже неоднородным. Все исправлялось

вскачь, особенно старалась Ксюша махать руками, разгоняя неравномерности, сгустки, оставшиеся после ночи: сами по себе они были плотны, крепки, не собирались сдаваться, удерживая сумрак за окном. Но – легко поддавались рукам, как дым расплываясь по воздуху, и легко уплывая к потолку, через форточку – в небо, и тогда становилось светлее, светлело в мире, мир – светлел, просыпаясь.

Мама:

– Еще вчера Ксюша лишь гусеницей ползала по полу, а сегодня – скачет, как сумасшедшая, с самого утра.

Вот она безумная странность: вчера не было каким-то другим, без скачек, без умопомрачительно диких игр, без беспричинного (и по причинам) ора. Эта странность не замечать некоторые Ксюшины дни была в обоих родителях: папа всегда в такие минуты поддакивал маме, и припоминал всяческие, потешные – вчерашние – подробности. Ксюша начала экспериментировать: бродила по комнатам в большущих маминых босоножках, расхристанная, без колготок, нарочно грохотала каблуками, иногда падала и орала в полный голос, пользуясь паденьем: все, чтобы день запомнился, и чтобы нипочем не был родителями забыт.

Но вот опять:

– Еще вчера Настя была лялькой, а сегодня – целая невеста.

Теперь родители забыли Настин вчерашний день: хорошо, что у мамы две пары босоножек.

Неужели невесты бывают нецелые?

Арабские танцы

Как понять маму? – непонятна, порывиста, развесела. Вскочила неожиданно, опрокинув несчастный падучий кухонный табурет, которому не помогли удержаться в горизонтальном положении все его четыре ноги, взмахнула леопардовыми рукавами халата и – ну, вскачь мерить квартиру прыгучими танцами, извивистыми па-де-де, какими-то, только что ей самой выдуманскими глиссадами, будто ей для ее балетов стало мало кухни. У мамы танцы получаются ловко, мама – прыгуча и воздушна, ножками – так и эдак, движения ее плывучи, как будто рукам ее помогают воздушные, невидимые потоки, текущие сквозь все комнаты.

Но маме минутного веселья мало, ей хочется особых балетов, которые она называет – арабские танцы; для них ей требуются аксессуары: висюльки, бренчалки, блестяшки, цепочки, много-много всего сияющего и звенящего, каких-то немыслимых туалетов, сквозистых тканей. Как по волшебству – легким движением, – она на мгновение исчезает в своей комнате, и появляется: расфранченная, пышная, и сразу – в танец, сразу – в арабские балеты, в сложноизгибные па, в восточные позы, принимаемые под невесть откуда взявшуюся музыку. Немедленно – Ксюше и Насте – досталось все то, что не нашлось применения в мамином наряде, все пошло в ход, было накручено на головы, накинута на плечи, наверхено вместо причесок. Мамины серьги, которые в обычные минуты брать запрещено – соскользнувшими брызгами: по полу. Мамины браслеты, кольца, подаренное папой кольцо – на шеи, на сгибы локтей, куда попало, в результате тоже – теми же брызгами. Это был всем танцам танец, когда они втроем закрутились в его сумасбродных круговертях: громко хохотали стены, отзываясь эхом ритму музыки, бабахали оконные стекла, дзинькали соседи звонким металлом – по батареям. Настя и Ксюша, обе – в этом музыкальном дрыгоножестве – словно рыбы в воде: и мама с ними, и тоже прекрасно себя чувствует. Этот вихрь баловства развеселил и папу, верней – только его ноги, сами по себе притоптывающие под музыку, и его губы, растянувшиеся в улыбке. Остальной же папа остался прежним, сидящим в кухне на табурете, будто боящимся подойти ближе и быть застигнутым коловращением танца или сделать резкое движение и спугнуть так ловко законченное веселье.

Как понять взрослых: спервоначала дурачатся, буйным весельем соблазняя детей, а после, в самый разгар утех и буйства рвутся унимать – разгоряченных, распоясавшихся, расхристанных, взмокших, неостановимых. Родительские доводы неубедительны: еще ни у одного ребенка на всем белом свете от танцев не отвалилось ни одной ноги, от кривляний – не искривилось навеки ни одной детской моськи, от источника детьми жара не загорелось ни одного дома и никому еще не удавалось с грохотом провалиться к соседям. В конце концов, всегда остается последний, жалкий родительский аргумент: мама и папа устали от шума. Но не тут-то было: вяжите растанцевавшихся детей веревками, им самим не справиться с собой!

Отцы и дети

С трудом и лишь слегка был унят веселья пыл, и еще некоторое время его дух видимым туманом стоял в межкомнатном пространстве: Насте прочли нотацию о долженствовании в нужный момент быть шелковой, Ксюшу же пришлось пеленать в одеяло, и держать всеми имеющимися в квартире руками ее, не на шутку разошедшуюся и всем телом выделяющую черте что, точно заправская гусеница.

– Дети, хватит, – сказала мама тем строгим тоном, не предвещающим ничего хорошего: но даже его – мало, даже ему – не удержать дразнящийся, высовывающийся изо рта, язык. Уговоры не действуют, они теперь – как мертвому припарка.

– Непослушных буду наказывать!

Не то: мама не умеет быть действительно грозной, хотя иногда, когда она по настоящему сердится, от металла в ее голосе замирает даже папино сердце, даже папа, по его собственным словам, побаивается в такие минуты молний, испускаемых мамой, хотя они и бьют мимо него. Но сейчас, оттого, видимо, что она сама развесела – детям не страшно, дети – пропускают мимо ушей мамины слова, ведь нужен реальный хитрый ход, нужна такая заковыристость, чтобы о баловстве – просто и легко забылось.

– Видимо, – сказал вдруг папа спокойно и безразлично, и даже громко и протяжно зевнул во весь рот, – на море мы поедем с тобой, мама, вдвоем.

– Что же делать, – немедленно подхватила мама, – если дети не хотят ехать с нами.

Это было слишком неожиданно, слишком – в лоб, чтобы кто-нибудь из детей смог вымолвить хотя бы одно словечко. В оцепенении стояли Настя с Ксюшей, осмысливая услышанное, единенные общим горем, и глаза их наливались влагой.

– Вчера по радио объявляли: непослушных детей не пускают купаться в море. Специальные дядьки со специальными палками стоят на берегу и этими специальными палками отгоняют непослушных детей прочь от пляжей.

– Непослушным детям даже билеты на поезд не продадут, а пешком до моря – далеко.

– Грустно, что поедем одни, – продолжал папа, опять зевая и словно не замечая приближения апофеоза настоящего детского горя. – С детьми было бы веселей, но что делать? Не нарушать же правила.

– Ничего, – поддакнула мама, тоже абсолютно спокойная, – мы потерпим.

– Оставим им еды на месяц.

– Полный холодильник.

– Мороженого.

– Чипсов.

– Поживут одни.

– А мы будем каждый день, купаясь в море, плакать и скучать по ним.

– Помучаемся немного, что делать.

– Ради детей, все-таки.

Рев и плач – размеров катастрофических, покрыли последние родительские слова. Что сделалось с детьми: веселье – бурно схлынуло с их лиц, пальцы обрели судорожную цепкость и неотрывную неотцепляемую крепость, слезы пошли уже потоками, и даже – градом.

– Что такое? – спрашивала озабоченная мама, опускаясь на колени, словно давая себя на растерзание: кинулась к ней на грудь Настя, стена и ревя, выдавая что-то невразумительное, не понятное даже ей самой.

– Что случилось? – тем же тоном спрашивал папа, хватая на руки обуянную горестью Ксюшу: мокролицую, мокрогубую, мокроволосую даже; все от слез было мокро на Ксюше, даже одежда, даже носки, – так много вылилось из нее горьких ручьев.

– Мы послушные! – кричали дети взахлеб, перебивая друг друга, расстаравшись в доказывании – как им казалось самим – очевидного. – Нас пустят купаться в море!

– Ах, вон оно что, – удивлялись приятно родители, снимая с себя детей и ставя их перед собой. Они были теперь сущими ангелами, и во взглядах их – сквозило ангельское, и ангельские были голоски, и недоставало только крыльев и нимбов. Станным образом на зареванных лицах выделились глаза, став, лучше сказать – глазищами, и в глазищах этих стояла – целенаправленная мольба, устоять которой не смог бы ни один родитель в мире.

– Если они послушные, – сказал папа, наконец, – тогда можно их взять с собой.

– Если они, конечно же, послушные, – согласилась мама.

Послушание выражается всячески: кивками, ужимками, – радость уже плохо скрывается, дети чувствуют, как опали недавно нагроможденные стены, отделяющие их от купания в море, как растаяли родители, хотя и не собирались так быстро сдаваться. Осознание всего этого, и за ним: новый вихрь веселья, но веселья иного свойства, без примеси бесцельного бешенства, веселье целенаправленное, оправданное в родительских глазах, вызывающее улыбку, приятное веселье, которое – из-за свойств его – теперь легко было остановить одним движением ладони.

Папа отпущен в отпуск

Мама сказала: папу отпустили в отпуск. Вот новая закавыка: вдруг представилось Ксюше – лохматый пес поводком удерживаемый возле своей собачьей будки, виляет хвостом, но лишь отстегивают ему ошейниковую застежку, как он, отпущенный на свободу, несется, задрав веселую морду, высоко подскакивая, смешно распластываясь в прыжке. Есть какая-то несуразность в словах «отпустили в отпуск», словно отпустили целых два раза. Может быть – не хотел отпускаться, отпустить пришлось два раза – значит, прогнать.

Никак Ксюша не сообразит всего этого, тогда – за разъяснениями – к папе.

– Папа, – спрашивает Ксюша, – тебя отпустили в отпуск?

– Отпустили, – отвечает папа.

– Только сегодня отпустили?

– Только сегодня.

– А кто тебя держал и не отпускал раньше?

– Работа, – ответил папа, и в голосе его слышались и грусть, и сожаленье, и радость – от неожиданно полученной свободы.

Ксюша помнит свое самое раннее, надомное детство: когда она еще не ходила в детский сад. Иногда утром – поздно пробудившись, открыв глазки – не доискаться папы, спозаранку ушедшего на работу. Завтракал папа – где-то в компании с работой, и к обеду – все ждут папу, но работа, заперев его на ключик, за крепкой, офисной дверцею – держит папу, позволяя ему лишь по телефону, издалека дозвониться два разика в день. Кричит тогда мама свои ура в трубку, скачет, улыбочивая и блестяглазая, и что-то там ей в ушко лопочет папа, на что мама неизменно хохочет, и не дает трубку волнующимся детям. И такая борьба происходит за телефон: Ксюша и Настя, воюя друг с другом и – вместе – с мамой, но всеми своими арми-

ями не справляются ни друг с другом, ни с мамой, с утра соскучившейся по папе. Дети доби-ваются своего – капризами и воплями: их отчитывают за отвратительное поведение, но трубку дают каждой, по очереди, и каждая, по очереди – слушает папу, разговаривающего с ними – с работы.

Но и теперь, стоит детей, раскашлявшихся, затемпературивших, оставить дома с мамой: папина работа – с ее механическим, роботovým усердием, вновь встривается в ровное пространство каждого дня. Иногда папу забирает работа – в командировки: тогда и к ужину папу нечего ждать, и звонка по телефону ждать – нечего. Ксюша, все же, хоть и скучает, но радуется за папу: в командировках папа, верно, командует, скорее всего – полками. От папы Ксюша слышала: Гайдар уже в шестнадцать лет полками командовал. Папе – лет побольше, он коман-дует в своей командировке, наверное – армией, и самим Гайдаром – наверное.

Ипет

В кухне, за столом, возле отставленных в сторону чайных кружек, рискующих быть сбро-шенными на пол каким-нибудь зазевавшимся родительским локтем, папа и мама: решают вопросы. Вопросы решаются при наклонах над неубранным столом, не отошедшим еще от общесемейного чаепития: в воздухе еще стоит пар, выпускаемый носиком давно забытого, отчаянно кипящего чайника. В кухне стоит серодымное марево – смог от недавно пригорев-ших котлет; дети наблюдают его клочки, в беспорядке бродящие под потолком: их папа не смог разогнать полотенцем, выгнать сквозь распахнутую форточку на улицу.

Дети изгнаны из кухни – делать свои детские дела: спать и подглядывать за решением вопросов, подойдя к щелочке в двери. Было сказано: отстать от родителей, им нужно решать вопросы. Двум взбудораженным планами взрослым: не до детей, их снедает – нетерпение: ско-рей решить вопросы. Но Насте – не спится, Ксюше – ворочается, обеим – волнуется: как там вопросы? решаются ли?

Голосом взволнованным папа полнит кухню; малый краешек папиного голоса протиски-вается в приоткрытую дверь, и слышно:

– Едем в Египет: там – море. Там – можно смотреть пирамиды.

Пирамиды – не входят в детские планы; пирамиды – Ксюше достались по наследству от Насти: разноцветные, разнокалиберные, толстые колечки, надетые в порядке большинства на желтый пластмассовый штырек. Пирамидок, слава богу – детьми вдоволь изгрызено, вдо-сталь – изглодано, чтобы ехать – их смотреть. Можно глянуть – под кровать: там они, махровые от пыли, возлежат никчемно, бестолково несобранные, помеченные когда-то – чешущимися деснами, прорезывающимися зубками.

Что-то еще говорил папа, про фанфаронов, про манны небесные, которые падают с Еги-петских небес и их можно кушать: не расслушала Ксюша, думая о несправедливости судьбы, распорядившейся набросать по миру пирамиды, будто ничего интересней в мире – нету. Но пока Ксюша, задумавшись, маялась, Настя ловким бесом – к приоткрытой двери, острым ухом – к щелочке: все высмотрела, все подслушала, тем же ловким, босоногим бесом – обратно в постельку, к себе, на второй ярус, и оттуда свесившись:

– Слышала, Ксюша: мы едем в Египет.

– Ипет...

– Там будем все вместе смотреть пирамиды.

– У меня есть пирамиды, – хнычет расстроенная Ксюша, – я не хочу их больше смотреть.

– У тебя игрушечные пирамиды, – объясняет Настя, – а там – настоящие.

– У меня тоже настоящие, – совсем уж расхныкалась Ксюша.

– В тех пирамидах похоронены фараоны, – заключает Настя.

Теперь Ксюше: мешают спать пирамиды и фараоны; она – вконец запуталась; ей видится фараон, стиснутый, как штырек, разноцветными кольцами пирамиды; он видится ей – златокудрый, тощенький, болезненно-бледный; он кричит истошно, сдавленный со всех сторон змеиными кольцами: и было Ксюше жалко его, и глаза его страшно горели в комнатном сумраке, и встала Ксюша, и босыми ножками – в кухню, в свет, нырком – маме на грудь.

– Что такое?

– Что случилось?

– Не хочу я в Ипет, – горько плачет Ксюша, тут же на маминых руках уносясь обратно в постель, – потому что боюсь фараонов.

– Не бойся их, – отвечает мама, смеясь, – все они умерли давным-давно, и остался от них один песок.

– И ничего больше не осталось, кроме песочка? – с надеждой спрашивает Ксюша.

– Совсем ничего, – шепчет мама.

С мягким касаньем маминых губ – приходит к Ксюше сон; даже в нем она чувствует тепло маминых касаний. Ей снился теперь берег моря, и был он – странным, совсем не таким, как все вокруг о нем рассказывали. Было море – ровным и гладким, сделанным из такого высокостойкого стекла, что по нему можно было скользить безбоязненно ножками, и ножки – легко скользили бы по нему, ведь на них обуты – ботиночки и коньки. Нет тебе – прибрежного песка, а берег выстелен – ковром, в мягкой его, стелящейся розовости, можно было бы вывалиться вволю, если не сумеешь справиться с головокружением скорости, с воздушностью спортивного скольжения, с отточенными, хотя и только что выдуманскими, пируэтами, с классически слаженными сложеньями рук.

Так – в ритме танца – потекла Ксюшина ночь.

Катавасия

Ночью – телефонный звонок. Ночные звонки – особенно звонки, и особенно острорежущи их голоса. В темноте мама босоного добирается, берет трубку: и со счастливым возгласом ее немедленно вспыхивает день-деньской, и солнца зажигаются – в каждой комнате, в коридоре – солнце, и солнце – в кухне, точно маме – обязательно нужен свет, чтобы разговаривать по телефону.

Настя, немного протяжно поныв, меняет позу: нет, свет электрических солнц добирается до нее всюду: отражаясь от стен, просачиваясь – в щель от приоткрытой двери. Настю мучают противоречия: она страшится крошечных темнот, но острый глаз электрической лампочки – также мучит ее. Она – не пытается забраться под одеяло: там душно, и там всегда сидит кто-то, не страшный, но нестерпимо жаркий, и свиритит носом, и дышит громко, и возится, и щеко-тится.

Мама – возбужденно тараторит в трубку, даже приплясывает от нетерпения: так ей хочется рассказать все побыстрее, но быстрее – она не может. Папа – поднятым в спячку медведем, брякаясь голеньями и боками обо все подряд, шипя сквозь зубы, на чем свет стоит, ворча, подымается и тащится к телефону, настойчиво призываемый мамой к трубке, но в трубку уже говорит – бодрячком, словно проснулся, пока шел. Теперь уже между родителями – настоящая борьба: толкаются, возятся, хитрым бесом папа звучно щекочет маму, завладевая трубкой.

Звонит мамина сестра – тетя Лена; звонит – из Израиля, из страны вечной путаницы, из такого далека, куда лететь – на крыльях, и куда совсем нету – пешего ходу. Звонить из Израиля лучше всего – ночью: дешевле, сказала тетя Лена; ночи в Израиле – дешевле и оттого ночами там никто не спит, а все – разговаривают по телефонам, экономя – будят семьи и целые страны. Тем оправдывается мамино полночное возбуждение: с тетей Леной они не виделись – год, а папе – какая разница, какой повод, чтобы дурачиться? Он дурачился, бывало – и без

повода, а сейчас такой хороший повод – звонит тетя Лена из Израиля. И папа – дурачится вволю. Врывается к детям в комнату, растопыривается в светлом проеме (лица у него – нет, темно – вместо лица), и говорит восклицательно, невзирая на мамины предостережения: «Подъем, дети!» Да дети уже давно отпустили на волю свои дремоты и сны, им только дай сигнал повосклицательней, как они тут как тут: Настя – ловким скоком вниз, с верхнего яруса, Ксюша – заведенной юлою вместе с одеялом, чтобы не упустить тепло.

Мама тут же докладывает в Израиль:

– Дети проснулись!

И тогда каждую из них по очереди подводят к трубке – поговорить с Израилем, с далекими израильскими голосами, удивляющимися, как Настин голос – посерьезнел, как Ксюшин голос – повзрослел. В Израиле, на том конце провода – протянутого между странами через океан, – начинается та же катавасия: к Израильской телефонной трубке подпускают двоюродных сестер, Аню и Люсю. Теперь это: неостановимая болтовня во весь дух, в эпицентре которой – детские полночные капризы. Детей теперь от трубки просто так – не оторвать, спать – не загнать. Взрослые – странны, их взгляды на мир – путаны и не ясны, никак не одолеть детям взрослых повадок и поводов: растревожить ночь криком, залучить детей к телефону, взволновать – разговорами, чтобы после прогнать – спать!

Опять – спать! Настя видит в этом чудную непоследовательную неестественность, присущую взрослости, которой она противится – капризами. В такие минуты ей совершенно не хочется взрослеть: и отрешаться от какой-либо логики, и творить несурезицы, и совершать шалопутные поступки. У взрослых ум зачастую короток, ведь на нем, на все случаи жизни: детям – спать! Ксюше – немногого надо, она рвется повторять выкрутасы за Настей: артистично выгибается что было сил, будто вот-вот упадет на спину, словно – совсем без сил, ревмя ревет – белугой, даже воет – тонкоголосым, плаксивым нытиком! Глаза ее слипаются, и сил осталось лишь на эти голорукие и голоногие выгибанья. Даже едучи на маминых руках в спальню – выгибается, и заворачиваемая в одеяло – выгибается, и уложенная в постель – еще выгибается некоторое время, пока ее не одолевает вторая, накрепчайшая половина ночи.

Просышаемся

Удивительны утренние летние просыпания. Сколько их уже было, но все не может привыкнуть Настя: еще не раскроешь глазки, а сквозь веки, как сквозь тонкие шторы – свет, и сна – как не бывало, даже если он только что – был здесь; приподнимешь на локте, оглядывая комнату, точно не узнаешь обойных мишек, замерших на стенах; заглянешь в окно, проверая: там ли вчерашняя солнечная, волнующаяся от ветров зелень, ведь среди ее лиственной пышности задуман невидимый снизу будущий штаб будущих знаменитых шпионов. Теперь, удостоверившись в целостности оставленного вчера мира, уже можно высадиться по кроватной лестнице: будить Ксюшу.

Да не тут-то было: она, кажется, давно бродит босая где-то в квартирных закоулках – шлеп-шлеп, топ-топ, ням-ням.

Мама говорит:

– Ксюша с голоду не помрет...

Точно: стоит, босая, голопупая, посереде кухни, обкусывает добытый из шкафной середки каравай. Покусав тоже, Настя предложила развевать скуку: стали, громко пища, играть в голодные мышки: выедать каравайное нутро, и хотя есть не очень-то и хотелось, однако выели мякоти препорядочно. Каравай оставили в покое – бросились утолять жажду. Пили воду – прямо из чайника, из самого носика, пуская туда прилипшие к губам крошки: так можно еще и дудеть, точно в трубу, но если слишком сильно взбурлить оставшуюся воду, от нее запершит в детских горлышках. Пили долго, дудели, пока вся муть не поднялась с чайникового дна,

и обеим не стало щипать языки. Перекусив и напившись воды, разрушительницы прошествовали в комнаты.

Раннее пробуждение родителей – событие архиважное, а также совершенно необходимое; не разбуди их: проспят все на свете, проспят изумительные июльские, такие по-уральски летучие, погоды, проспят обед, а там, глядишь, и к ужину дети получают родительского храпака. Лучшее в этом средстве: прогулки по спящим родителям: много крику, но ведь и много пользы; ворочается и похрюкивает папа; покрикивает и брыкается мама; но неизменно просыпаются, а, проснувшись, умываются; а, умывшись – приглядываются к бардаку, учиненному детьми; а уж приглядевшись – задумывают страшную взбучку. К взбучкам же: дети привыкшие; взбучками: не остановить категорического познания мира, ибо мир пробуете только разрушением. Статичные его формы – скучны пытливому детскому взгляду, направленному в вещество исследуемой действительности. Оттого есть какая-то привычка, какая-то серьезная защита от взбучек, словно дети знают всю подноготную устроенной родителями головомойки, другую ее сторону: и встречают ее с рассеянностью, обиженно выпятив нижние губы.

Полемики

Папа с мамой – спорщики, каких свет не видывал: бывало, распорившись, развоюются, доказывая друг другу каждый что-нибудь обратное, и тогда дети – юлами вокруг них, лезут, требуя – мира, но лишь тем самым яростных спорщиков гнева. Дети не любят родительских споров, хотя и редких, но всегда начинающихся как-то на пустом месте, неожиданно, словно кто-то подкинул им в чай спорщицкого порошку, напиваются они чаю со спорщицким порошком, и больше нет на них никакого удержу: спорят и спорят.

– Ты меня послушай, – говорят друг другу.

– Нет, это ты меня послушай, – требуют друг от друга.

Начнут: одно, да потому – разбираться, кто что сказал первый, кто кому что-то первый доказал, требуют друг от друга должной аргументации, аргументацию приводят, но, приведенной аргументацией всякий раз будучи не удовлетворены, так и говорят друг другу:

– Меня твоя аргументация не удовлетворяет!

– А меня – твоя!

Ксюшин напор к тому времени становится назойлив. То подай ей, мама, попить, а как дадут ей пить – пить и не станет; то ей требуется покушать – не останавливая дискуссий, мама разогревает в микроволновой печи кашу, но каша останется там забытая: да Ксюше и не нужно, в сущности, ничего съедобного, ей бы – остановить ком спора, катящийся под гору. Полнятся слезами Ксюшины глаза: от гложущей сердце неясности родительского поведения, от необъяснимой боязни, от непостижимой нервозности, от напряженного звона кухонного воздуха. Тогда все бросаются к Ксюше, забыв дебаты: в щекотанья и люлюканья погружают ее; объясняют, что папа с мамой не ссорятся, а просто в споре желают постичь истину, ведь постичь ее больше – негде; умывают Ксюшу водой, берут ее на колени, таскают на ручках, а ей только того и надо.

Но сегодня был спор без ссоры: папа сидел на кухонном табурете полным удовольствия гордецом, мама – раздираемой нетерпением непоседой. Хотя это у родителей называлось «попить чайку», о чайке особенно никто не вспоминал, хотя он и был разлит по чашкам. Зато вновь мамой было предложено папе аргументировать позицию.

– Пожалуйста, – сказал папа, – в Египте есть пирамиды, в Израиле их нет.

– Хороший аргумент, – парировала мама, – зато в Египте – жарница. Ты сам первый измучаешься.

Но этот аргумент не прошел:

– В Израиле, – ответил папа, – жара не меньше. Так что, хрен редьки не слаще.

– Это да, – пришлось согласиться маме. – Зато там целая курица стоит всего семь шекелей! И там живет Ленка, и Анька, и Люська, мы их не видели сто лет! Там едят кактусы! Там – Голгофа и гипермаркеты! И Мертвое море!

– Мерт! Во! Е! Мо! Ре! – заскандировали дети, им дали немного поскакать (чтобы немного вытрясти дурь, как сказал папа), затем – по командной отмашке папиной руки, все успокоились. Это было веселое несколькоминутное ожидание, во время которого: неудержимая улыбка тут, улыбка там, и, наконец: заулыбался даже холодильник – солнечной блямбой, отраженной на гладкой поверхности дверцы.

– Ладно, – торжественно объявил папа, – едем в Израиль!

– Ура-а-а! – был зазвонистый, дружный вопль, хотя папа под шумок, как заметили дети, сказал: «уря!»; ему мешала улыбка: он улыбался так, что на него было больно смотреть.

Приобщаемся к литературе

Папа – великий растеряха: разбросает свои книжки там и сям, и валяются они в этих тамахсямах, а также:

– в уборной стоят – скромно, возле стеночки, раскрытые, разогнутые или, наоборот, затворенные, но заложенные в нужном месте бумажечкой,

– в ванной, на водопроводную трубу навешенные сгибами, висят возле полотенец – отдыхают от папиного чтения, местами – влажные,

– на шкафных полочках в порядке и без такового – вповалку, устало друг к другу при-слоняясь, и тоже в них – закладочки, тетрадные листочки, бумажные кусочечки.

Трудно книжкам с папой, на папу им нет никакой управы, с папой им нет никакого сладу: он их любя истискает, поперегибает им хребты, замусолит им страницы. Любит папа книжки странненькие, картинками обделенные – может быть лишь на обложке какая-нибудь моська или выведенная каракуля.

Он великий обманщик: спроси его, идущего по коридору с дородной книжкой подмышкой:

– Что ты читаешь папа?

Ответит на это:

– Набокова.

Но вот – чуть времени прошло – опять по коридору, опять – папина подмышка полнится книжкой, опять попробуй его спросить:

– Что ты теперь читаешь папа?

Ответит на это хитро:

– Набокова.

А книжку-то несет другую, теперь тощенькую – великий обманщик.

Настя пробовала папины книжки читать: буквы – разбираются, слова – по складам складываются, но смысла в них – не видит Настя никакого. Глупые книжки, даром, что без картинок, и слишком много в них крючочков и черточек, скобочек и точечек, и букв – несусветная мелкота. Не привыкла Настя к таким книжкам, вот и решила расставить всюду свои: папины возле одной стеночки, так возле другой – Настины; папины книжки на одну водопроводную трубу повешены, на другую – Настины; папа заложил страничку бумажечкой, Настя – тряпочкой. Тут Ксюша присосеживается, свои азбуки пристраивает: выходит книжек ловкий ряд – папынастиксюшин.

Тогда станет находить мама всюду книжки порченые: Настя читала в ванной, книжку – утопила, книжкины страницы слиплись – не разодрать. Ксюша – хитренькая, книжка ее «для купания», не бумажная, особая книжка, страницы ее резиновые: плюхается с ней Ксюша в ванной, но книжке-то – хоть бы хны: полежит, да высохнет.

Тогда станет мама всех отчитывать за книжки: не разбираясь, кто виноват, а кто прав; даже папе: попадет за книжки, он – детям показывает дурной пример! Потребовала мама: книжки любить. Пригрозила:

– Кто книжки будет разбрасывать, в Израиль не поедет!

Ожидание

Ожидание – это двухнедельное, болезненное вздутие, разъедающее нормальное человеческое существование. Сначала оно висло низко, кажется, ниже потолка, затем – тонкой, липкой пленкой покрыло все. Не сидится, не лежится, не кушается: будто мешается что-то. Все подчинено одним мыслям, и в мыслях этих: неведомые островерхие вершины (если ли они в Израиле?); раскинувшиеся плоско простыни израильских, выжженных солнцем пустынь; желтокаменная суета «пупа Земли» – Иерусалима и рыбные, жирные запахи его базаров; расплывается в глазах зеркальная блямба Кинеретского озера, словно глаза, уставшие глядеть, полнятся слезами: это слезы, не могущие смыть налет нетерпения, покрывший все и вся. Кажется, текущее состояние жизни – обесмыслилось, придавленное ожиданием. Когда мы с легкостью обнаруживаем себя даже не в «завтра», а в другой, дальней давности, отставленной о нас на две недели вперед, то жизнь в «сегодня» – лишь напрасная трата времени, «сегодня», как и «вчера» – лишь ненужный сор, напрасно заданные километры, путь в обход, сети, из которых приходится выпутываться и выпутываться, вместо того, чтобы жить.

Насте скучно: то она – в дремотном, нахохленном состоянии, сычом сидит на втором ярусе кровати, на своей постели, занятая кошмарным ничегонеделаньем; то вместе с Ксюшей принимается играть в отвратительные игры, изо всех сил желая вдребезги расколошматить висящий в жилой кубатуре, режущий уши, звон тишины. Эта мирная дрема – удобна всякому взрослому, ищущему тишину, как клад – с настойчивым, горячечным усердием. Взрослым легко ожидается – в безмятежности, в горизонтальном положении, в пододеяльном, теплом мирке. Вот только тишины им не найти: ни в удобных объятьях кресла, ни в складках простынь: дети сбрасывают домашние одежды! дети круговертят застоявшимся миром! дети начинают волшебство!

Тем самым: устраивается квартире – переполох, тяжелодышащей беготней – взбаламучивается застоявшийся воздух, так что – парадокс! – становится легче дышать. Каблукам маминых туфель устраивается экзекуция. Этого достаточно, чтобы взбурлила кровь, чтобы лица – облило жаром предстоящих самопальных карнавалов и перформансов, чтобы полнящийся детским галдежом двухкомнатный мир взбух, теснимый стенами, стенами сдавленный, вышел за их пределы – сквозь форточки: криками.

– Дети! – кричит папа. – Идите в свою комнату! И закройте у себя двери: мы не ни черта из-за вашего ора не слышим!

Родители гоняют видео.

Вот оно, возжжение праздника: теперь нужна стенодрожащая музыка, проливной дождь нафантазированных блестяшек должен сорваться с потолка. Шифоньерное нутро выворачивается наружу: сколько же там нужных для представления вещиц, сколько тряпичек, предназначенных стать составляющими корон, сколько колготочек, должных быть каркасами громоздкопышных – в полкомнаты – юбок! И когда возведены махровые башни полотенежных тюрбанов, родительскими шарфами выполнено декольте, и мамино пальто юбочно застегнуто вокруг талии на все пуговицы: бал начинается. Среди шумного бала: музыка – грохот небес, мягкостелящееся таинство накинутых на пол ковров смягчает вальсовый шаг, зеркальные кривляки – стены – копируют королевскую осанку, ровную постановку ног, оголенность плеч, тайны надвинувшихся сумерек. Есть в сумерках: загадка; свечой можно: загадку полнить, длить, множить. Но дрожащий свечной язычок: дрогнул, испугавшись вдруг открывшейся двери, а разверз-

шийся из-под потолка свет застал: застигнутых врасплох принцесс, в тюрбанах, в маминых туфлях, выглядящих неважно; на месте преступления поймана была мамина косметика, распоясавшаяся, разбредшаяся по комнатам, по щекам: тени – пастельно осели на лицах, помады – полосато легли на пол.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.